

УДК 821.161.1-4  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44  
Д70

**Достоевский, Федор Михайлович.**

Д70

Запад против России / Федор Достоевский. — Москва : Родина, 2022. — 288 с.

ISBN 978-5-00180-713-1

«Запад против России» — это уникальное собрание острых полемических текстов Достоевского. Он драматически показал всему миру уникальность русской цивилизации, которой трудно избежать конфликта с эгоистической Европой. Чем же принципиально отличается Россия от Запада? Что важнее в этом противостоянии — отношение к деньгам, к религии или к истории? На эти вопросы отвечают публицистические тексты Достоевского, ставшие библией русского почвенничества. Сегодня произведения Достоевского еще актуальнее, чем в прошлом или позапрошлом веке, потому что его пророчества начинают сбываться на наших глазах. Идеиное противостояние ожесточается. А значит, пришло время учиться у Достоевского.

УДК 821.161.1-4  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-00180-713-1

© ООО «Издательство Родина», 2022

## РЯД СТАТЕЙ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

### 1

Если есть на свете страна, которая была бы для других, отдаленных или сопредельных с нею стран более неизвестною, неисследованною, более всех других стран непонятою и непонятною, то эта страна есть, бесспорно, Россия для западных соседей своих. Никакой Китай, никакая Япония не могут быть покрыты такой тайной для европейской пытливости, как Россия, прежде, в настоящую минуту и даже, может быть, еще очень долго в будущем. Мы не преувеличиваем. Китай и Япония, во-первых, слишком далеки от Европы, а во-вторых, и доступ туда иногда очень труден; Россия же вся открыта перед Европою, русские держат себя совершенно нараспашку перед европейцами, а между тем характер русского, может быть, даже еще слабее обрисован в сознании европейца, чем характер китайца или японца. Для Европы Россия — одна из загадок Сфинкса. Скорее изобретется *perpetuum mobile*<sup>1</sup> или жизненный эликсир, чем постигнется Западом русская истина, русский дух, характер и его направление. В этом отношении даже Луна теперь исследована гораздо подробнее, чем Россия. По крайней мере, положительно известно, что там никто не живет, а про Россию знают, что в ней живут люди и даже русские люди, но какие люди? Это до сих пор загадка, хотя, впрочем, европейцы и уверены, что они нас давно постигли. В разное время употреблены были пытливыми соседями нашими довольно большие усилия для узнания нас и нашего быта; были собраны материалы, цифры, факты; производились исследования,

---

<sup>1</sup> Вечный двигатель (*лат.*).

за которые мы чрезвычайно благодарны исследователям, потому что эти исследования для нас самих были чрезвычайно полезны. Но всевозможные усилия вывести из всех этих материалов, цифр, фактов что-нибудь основательное, путное, дельное собственно о русском человеке, что-нибудь синтетически верное, — все эти усилия всегда разбивались о какую-то роковую, как будто кем-то и для чего-то предназначенную невозможность. Когда дело доходит до России, какое-то необыкновенное тупоумие нападает на тех самых людей, которые выдумали порох и считали столько звезд на небе, что даже уверились наконец, что могут их и хватать с неба. Все доказывает это, начиная с мелочей до самых глубокомысленных исследований о судьбе, значении и будущности нашего отечества. Кое-что, впрочем, о нас знают. Знают, например, что Россия лежит под такими-то градусами, изобилует тем-то и тем-то и что в ней есть такие места, где ездят на собаках. Знают, что кроме собак в России есть и люди, очень странные, на всех похожие и в то же время как будто ни на кого не похожие; как будто европейцы, а между тем как будто и варвары. Знают, что народ наш довольно смысленный, но не имеет гения, очень красив, живет в деревянных избах, но неспособен к высшему развитию по причине морозов. Знают, что в России есть армия, и даже очень большая; но полагают, что русский солдат — совершенная механика, сделан из дерева, ходит на пружинах, не мыслит и не чувствует и потому довольно стоек в сражениях, но не имеет никакой самостоятельности и во всех отношениях уступает французу. Знают, что в России был император Петр, которого называют Великим, — монарх не без способностей, но полуобразованный и увлекавшийся своими страстями; что женевец Лефорт воспитал его, сделал его из варвара умным и внушил ему мысль завести флот и обрезать русским кафтаны и бороды; что Петр, действительно, обрезал бороды, и потому русские тотчас же сделались европейцами. Но знают и то, что, не родись в Женеве Лефорт, русские до сих пор ходили бы с бородами, а

следовательно, не было бы и преобразования России. Но, впрочем, довольно и этих примеров; все остальные познания то же или почти то же самое. Мы говорим совершенно серьезно. Сделайте одолжение, разверните все книги, об нас написанные разными заезжими виконтами, баронами и преимущественно маркизами, — книги, разошедшиеся по Европе в десятках тысяч экземпляров; прочтите их внимательно и увидите, правду ли мы говорим, шутим мы или нет? И что всего любопытнее — некоторые из этих книг написаны людьми, бесспорно, замечательно умными. То же самое бессилие, как и в этих попытках заезжих путешественников бросить высший взгляд на Россию и усвоить ее главную идею, видим мы и в полнейшей неспособности почти всякого иностранца, которого обстоятельства заставляют жить в России иногда даже пятнадцать и двадцать лет, хоть сколько-нибудь оглядеться, прижиться в России, понять хоть что-нибудь окончательно, выжить хоть какую-нибудь идею, подходящую к истине. Возьмем сначала ближайшего соседа нашего, немца. Приезжают к нам немцы всякие: и без царя в голове, и такие, у которых есть свой король в Швабии, и ученые, с серьезною целью узнать, описать и таким образом быть полезным науке России, и неученые простолюдины с более скромною, но добродетельною целью печь булки и коптить колбасы, — разные Веберы и Людекенсы. Иные даже принимают себе «раз навсегда за правило и даже за священную обязанность» знакомить русскую публику с разными европейскими редкостями и потому являются с великанами и великаншами, с ученым сурком или обезьяною, нарочно выдуманною немцами для русского удовольствия. Но *какая бы* ни была разница между ученым немцем и простолюдином в понятиях, в общественном значении, в образовании и в цели посещения России, — в России все эти немцы немедленно сходятся в своих впечатлениях. Какое-то больное чувство недоверчивости, какая-то боязнь примириться с тем, что он видит резко на себя не похожего, совершенная неспособность догадаться, что русский

не может обратиться совершенно в немца и что потому нельзя всего мерить на свой аршин, и, наконец, явное или тайное, но во всяком случае беспредельное высокомерие перед русскими, — вот характеристика почти всякого немецкого человека во взгляде на Россию. Иные приезжают служить у помещиков Буеракиных, управлять вотчинами; другие являются в виде естествоиспытателей, ловят русских жуков, приобретают этим бессмертную славу и обращаются в каких-нибудь заседателей. Другие, с успехом заседаая лет пятнадцать, решаются наконец быть современными и полезными и для этого подробно опишут, из каких горных пород будет состоять цоколь будущего памятника тысячелетию России. Есть из них чрезвычайно добрые; такие почти всегда начинают специально учиться по-русски, очень полюбят русский язык и русскую литературу, получают наконец употребление русского языка, конечно, не без тяжких усилий, и, в припадке восторга, желая принести себе, русским и человечеству несомненную пользу, решаются — «перевести “Россияду” Хераскова на санскритский язык». Впрочем, не все переводят «Россияду» Хераскова. Иные приезжают писать свою «Россияду» и издают ее уже в Германии. Есть знаменитые сочинения в этом роде. Читаешь эту «Россияду» — серьезно, дельно, умно, даже остроумно. Факты верны и новы; глубокий взгляд брошен на иные явления, взгляд оригинальный и меткий именно потому, что иные русские явления удобнее наблюдать не русскому, а со стороны, и вдруг на чем-нибудь самом важном, коренном, без чего никакие познания о России, никакие факты, приобретенные трудом самым добросовестным, не дадут никакого о ней понятия или дадут самое сбивчивое, чтоб не сказать бестолковое, — вдруг наш ученый становится в тупик, обрывается, теряет нитку и заключает такую нелепостью, что книга сама вырывается из рук ваших и падает, иногда даже под стол.

Приезжие французы совершенно не похожи на немцев; это что-то обратно противоположное. Француз ничего не станет переводить на санскритский язык, не потому

чтоб он не знал санскритского языка — француз все знает, даже ничему не учившись, — но потому, во-первых, что он приезжает к нам окинуть нас взглядом самой высшей прозорливости, просверлить орлиным взором всю нашу подноготную и изречь окончательное, безапелляционное мнение; а во-вторых, потому, что он еще в Париже знал, что напишет о России; даже, пожалуй, напишет свое путешествие в Париже, еще прежде поездки в Россию, продаст его книгопродавцу и уже потом приедет к нам — блеснуть, пленить и улететь. Француз всегда уверен, что ему благодарить некого и не за что, хотя бы для него действительно что-нибудь сделали; не потому что в нем дурное сердце, даже напротив; но потому что он совершенно уверен, что не ему принесли, например, хоть удовольствие, а что он сам одним появлением своим осчастливил, утешил, наградил и удовлетворил всех и каждого на пути его. Самый бестолковый и беспутный из них, поживя в России, уезжает от нас совершенно уверенный, что осчастливил русских и хоть отчасти преобразовал Россию. Иные из них приезжают с серьезными, важными целями, иногда даже на 28 дней, срок необъятный, цифра, доказывающая всю добросовестность исследователя, потому что в этот срок он может совершить и описать даже кругосветное путешествие. Схватив первые впечатления в Петербурге, которые выходят у него еще довольно удачно, и, кстати, рассмотрев при этом критически английские учреждения, выучив мимоходом русских бояр (*les boyards*) вертеть столы или пускать мыльные пузыри, что, впрочем, очень мило и гораздо лучше величавой и чванной скуки наших собраний, он решается наконец изучить Россию основательно, в подробностях, и едет в Москву. В Москве он взглянет на Кремль, задумается о Наполеоне, похвалит чай, похвалит красоту и здоровье народа, погрустит о преждевременном его разврате, о плодах неудачно привитой цивилизации, о том, что исчезают национальные обычаи, чему найдет немедленное доказательство в перемене дрожек-гитары на дрожки-линейку, подходящую к европейскому

кабриолету; сильно нападет за все это на Петра Великого и тут же, совершенно кстати, расскажет своим читателям свою собственную биографию, полную удивительнейших приключений. С французом все может случиться, не причинив ему, впрочем, никакого вреда, до такой степени, что он после своей биографии тотчас же начинает рассказывать русскую повесть, конечно, истинную, взятую из русских нравов, под названием «Petrooucha», имеющую два преимущества: во-первых, что она верно характеризует русский быт, а во-вторых, что она в то же время верно характеризует и быт Сандвичевых островов. Кстати уж обратит внимание и на русскую литературу; поговорит о Пушкине и снисходительно заметит, что это был поэт не без дарований, вполне национальный и с успехом подражавший Андрею Шенье и мадам Дезульер; похвалит Ломоносова, с некоторым уважением будет говорить о Державине, заметит, что он был баснописец не без дарованья, подражавший Лафонтену, и с особенным сочувствием скажет несколько слов о Крылове, молодом писателе, похищенном преждевременною смертью (следует биография) и с успехом подражавшем в своих романах Александру Дюма. Затем путешественник прощается с Москвой, едет далее, восхищается русскими тройками и появляется наконец где-нибудь на Кавказе, где вместе с русскими пластунами стреляет черкесов, сводит знакомство с Шамилем и читает с ним «Трех мушкетеров»...

Повторяем, говоря это, мы вовсе не шутим, вовсе не преувеличиваем. Между тем мы сами чувствуем, что слова наши как будто отзываются пародией, карикатурой. Правда ведь и то, что нет такого предмета на земле, на который бы нельзя было посмотреть с комической точки зрения. Все можно осмеять, скажут нам, сказать то, да не так, передать почти те же самые слова, да не так их выразить. Согласны. Но возьмите же сами самое серьезное мнение о нас иностранцев; и вы убедитесь, что все сказанное нами нисколько не преувеличено.

Но надо оговориться. Последние нелепые возгласы о нас иностранцев были большею частью произнесены в состоянии беспокойном, во время недавних раздоров, теперь уже, слава богу, поконченных надолго, если не навсегда, во время войны, среди яростных боевых криков. А впрочем, если взять эссенцию всех прежних мнений, до раздоров и войны, то вывод был бы почти тот же самый. Книги налицо; можно справиться.

Что ж? будем ли мы обвинять за такое мнение иностранцев? Обвинять их в ненависти к нам, в тупости; смеяться над их недалечностью, ограниченностью? Но их мнение было высказано не один раз и не кем-нибудь; оно выговаривалось всем Западом, во всех формах и видах, и хладнокровно и с ненавистью, и крикунами и людьми прозорливыми, и подлецами и людьми высоко честными, и в прозе и в стихах, и в романах и в истории, и в *premier-Paris*<sup>1</sup> и с ораторских трибун. Следственно, это мнение чуть ли не всеобщее, а всех обвинять как-то трудно. Да и за что обвинять? За какую вину? Скажем прямо: не только тут нет никакой вины, но даже мы признаем это мнение за совершенно нормальное, то есть прямо выходящее из хода событий, несмотря на то, что оно, разумеется, совершенно ложное. Дело в том, что иностранцы и не могут нас понять иначе, хотя бы мы их и разуверяли в противном. Но неужели ж разуверять? Во-первых, по всем вероятностям, французы не подпишутся на «Время», хотя бы нашим сотрудником был сам Цицерон, которого, впрочем, мы бы, может быть, и не взяли в сотрудники. Следственно, не прочтут нашего ответа; остальные немцы и подавно. Во-вторых, надо признаться, в них действительно есть некоторая неспособность нас понять. Они и друг друга-то не совсем хорошо понимают.

---

<sup>1</sup> В передовицах парижских газет (*фр.*).

Англичанин до сих пор еще не в состоянии допустить разумности существования француза; француз платит ему совершенно тою же монетою, даже с процентами, несмотря ни на какие союзы, ententes cordiales<sup>1</sup> и проч., и проч. А между тем и тот и другой — европейцы, настоящие, главные европейцы, представители европейцев. Где ж было им разгадать нас, русских, когда мы и сами-то для себя загадка, по крайней мере постоянно задавали друг другу о себе загадки. Разве славянофилы не задавали загадок западникам, а западники славянофилам? У нас до сих пор любят ребусы. Читайте объявления об издании журналов, и вы в этом совершенно убедитесь. И как же бы, наконец, они нас постигли, когда одна из главнейших наших особенностей именно та, что мы не европейцы, а они и не могут мерить иначе как на свой аршин. Да главное еще то, что мы сами почти вплоть до сих пор постоянно и упорно рекомендовали им себя за европейцев. Что ж могли они разобрать в такой путанице, особенно глядя на нас? Вины ваты ли они, что до сих пор у них недостает даже фактов, чтоб составить о нас беспристрастное мнение? Чем заявили мы себя особенным, оригинальным? Мы, напротив, даже как-то боялись сознаться в наших оригинальностях, прятали их не только перед ними, но даже перед собою; стыдились, что мы еще носим на себе хоть какой-нибудь свой отпечаток и никак не можем стать вполне европейцами, укоряли себя за это, а следственно, им же поддакивали, торопливо соглашались с ними и даже не пробовали их переубедить. Да и кого из русских они видели? по ком судили? Правда, они встречались со многими из наших, целых полтора века сряду. Вместе с прочими ездил к ним и господин Греч и писал оттуда парижские письма. Вот про господина Греча мы знаем, что он пытался было переубедить французов, разговаривал с Сент-Бевом, с Виктором Гюго, что явствует из его собственных парижских писем. «Я *напрямки* сказал Сент-Беву», — выража-

---

<sup>1</sup> Сердечные согласия (*фр.*).

ется он. «Я *напрямки* объявил Виктору Гюго». Дело, видите ли, в том, что Сент-Беву или Виктору Гюго, не помним (надо бы справиться), г-н Греч сказал *напрямки*, что литература, проповедующая безнравственность и проч., и проч., ошибается и недостойна называться литературой. (Может быть, слова не совсем те, но смысл тот же самый. За это ручаемся.) Вероятно, Сент-Беву надо было дожидаться лет пятьдесят г-на Греча, чтоб услышать от него подобную истину из прописей. То-то, должно быть, Сент-Бев выпучил глаза! Впрочем, успокоимся: французы народ чрезвычайно вежливый, и мы знаем, что г-н Греч воротился из Парижа благополучно и невредимо. Притом же мы, может быть, и не ошибемся, если скажем, что по г-ну Гречу нельзя же было судить о всех русских. Но довольно о г-не Грече. Мы упомянули о нем только так. К делу! Ездили в Париж и другие, кроме г-на Греча.

Являлись туда с незапамятных времен и отставные наши кавалеристы, народ веселый и добродушный, изумлявший на наших парадах публику красотой своих форм, обтянутых лосиною, и проводивший потом остаток дней своих уже не в тягостях службы, а в свое удовольствие. Толпами валили за границу и молодые вертопрахи, нигде не служившие, но сильно заботившиеся о своих поместьях. Ездили туда и коренные наши помещики со всеми семействами и картонками; добродушно и серьезно взбирались на башни Нотр-Дам, осматривали оттуда Париж и, втихомолку от своих жен, гонялись за гризетками. Доживали там свой век оглохшие и беззубые старухи барыни и уже окончательно лишались употребления русского языка, которого, впрочем, не знали и прежде. Возвращались оттуда к нам и наши матушкины сынки (что по-французски переводится: *enfants de bonne maison, fils de famille*)<sup>1</sup>, знавшие всю подноготную о Пальмерстоне и о всех мелких дрязгах во Франции, до последней бабьей сплетни, и которые, за обедом, просили своих соседей приказать лакею

---

<sup>1</sup> Дети из хорошего дома, маменькины сынки (*фр.*).

налить им стакан воды единственно для того, чтоб не проговорить и двух слов по-русски, хотя бы и с лакеем. Об одном из таких фактов лично свидетельствует г-н Григорович, написавший недавно «Пахатника и бархатника». Но бывали и такие из них, которые знали по-русски, даже занимались зачем-то русской литературой и ставили на русских сценах комедии, вроде пословиц Альфреда Мюссе, под названием ну хоть, например, «Раканы» (название, конечно, выдуманное). Так как сюжет «Раканов» характеризует целый слой общества, занимающегося такими комедиями, а вместе с тем изображает тип и других произведений в таком же роде, то позвольте вам в двух словах рассказать его. Когда-то в Париже, в прошлом столетии, процветал один пошлейший рифмоплет, под названием Ракан, не годившийся даже чистить сапоги г-ну Случескому. Одна идиотка, маркиза, прельщается его стихами и желает с ним познакомиться. Три шалуна стовариваются между собою явиться к ней, один за другим, под названием Ракана. Не успевает она проводить одного Ракана, как тотчас же перед ней является и другой. Все остроумие, вся соль комедии, весь пафос ее заключается в остолбенении маркизы при виде Ракана в трех лицах. Господа, разрешавшиеся (иногда в сорок лет от роду) такими комедиями после «Ревизора», совершенно бывали уверены, что дарят русской литературе драгоценнейшие перлы. И таких господ не один, не два; имя им — легион. Разумеется, никто из них ничего не пишет. Автор «Раканов» почти исключение; но зато каждый из них так уж с виду смотрит, что как будто сейчас сочинит «Раканов». Кстати (простите за отступление), премиленькая вышла бы статейка, если б кто-нибудь из наших фельетонистов взял на себя труд рассказать все сюжеты таких комедий, повестей, пословиц и проч., и проч., мелькающих даже до сих пор в русской литературе. Становые, отказывающиеся, по принципу, жениться на генеральских дочерях, — разве это не те же *Раканы*, разумеется, в своем роде и немного только позлочащее? Я знаю, например, сюжет одной повести о

проглоченных кем-то маленьких часах, продолжавших тикать в желудке, — это верх совершенства! Разумеется, она написана или будет написана тоже по принципу, именно: что искусство должно служить само себе целью. Уж наше время такое: даже сочинители «Раканов» не могут теперь обходиться без «принципов» и «современных вопросов». Но к делу. Спрашиваем: что могли до сих пор заключить о нас иностранцы по таким господам? Но, скажут нам, разве только одни такие господа ездили к иностранцам? Разве не видали, хоть бы, например, французы, таких-то или вот, пожалуй, таких-то? То-то и есть, что они их до сих пор не заметили. А если б и заметили, то опять стали бы в тупик. Ну что бы, например, могли сказать они человеку, приехавшему бог знает откуда и который бы им вдруг объявил, что они отстали, что свет уже теперь на востоке, что спасение не в *légion d'honneur*'e<sup>1</sup>, и так далее, и так далее в этом роде. Они просто бы не стали его слушать.

— Да, вы многое в нас проглядели, — сказали бы мы им, если б только они могли не проглядеть, ну, и... и если б они нас стали слушать. — Вы совершенно ничего в нас не знаете, — повторили бы мы им, — несмотря на то, что ваш Мериме знает даже древнюю нашу историю и написал что-то вроде начала драмы «*Le Faux Demetrius*»<sup>2</sup>, из которой, впрочем, столько же можно узнать о русской истории, как и из «Марфы Посадницы» Карамзина. Замечательно, что сам *Le Faux Demetrius* вышел у него ужасно похож на Александра Дюма, не на героя романа Александра Дюма, но на самого Дюма, настоящего маркиза *Davis de la Pailletterie*. Ничего-то вы не знаете ни в нас, ни в нашей истории, — повторили бы мы им в третий раз, — и до сих пор знаете только одно: что женевец Лефорт и т. д., и т. д. — Этот женевец Лефорт до того необходим в ваших познаниях о русской истории, что я думаю, каждая дворничиха в Париже уже знает его и, вероятно, при взгляде

---

<sup>1</sup> Почетном легионе (*фр.*).

<sup>2</sup> «Лжедмитрий» (*фр.*).

на русского, требующего у ней в поздний час *le cordon s'il vous plait*<sup>1</sup>, бормочет про себя: «Вот не родись в Женеве женевец Лефорт, то был бы ты до сих пор варваром, не приезжал бы в Париж, *au centre de la civilisation*<sup>2</sup>, не будил бы ты теперь меня ночью и не орал бы во все горло: *le cordon s'il vous plait*». Но, несмотря на троекратное повторение, что вы вовсе ничего о нас не знаете, мы вовсе не ставим вам в вину, что вы знаете только одного Лефорта. Ну, Лефорт вам даже простителен, потому что многих из вас он спас от голодной смерти. Сколько губернеров, учителей — всяких Сен-Жеромов и Мон-Ревешей — приезжало к нам в старину из-за Рейна для образования России, ровно ничего не зная ни из какой науки, кроме того, что женевец Лефорт и т. д., и за это единственное познание, которое они передавали детям русских (*boyards*), они получали от нас и деньги, и социальное положение. Ну к чему, в самом деле, стали бы вы изучать нас? Где разумное к тому основание? Так разве, для искусства? Но вы народ деловой, практичный и, вероятно, не станете тратить времени на такие пустяки, как искусство для искусства, хотя и посадили Понсара в Академию (впрочем, может быть, по тому соображению, что туда ему и дорога). Ну так для науки? Да ведь в том-то и дело, что мы такой народ, что до сих пор ни под какую науку не подходим. Вот почему, господа, вы до сих пор не знаете, что если б у нас только и было, что одна ваша цивилизация, так для нас это было бы уж слишком жидко и даже обидно. Мы уж это испробовали и теперь знаем все это на опыте.

Вот почему мы знаем, а вы не знаете, что ваша цивилизация явилась у нас как плод натуральный, потребованный нашей почвой, а не потому только, что был на свете женевец Лефорт и т. д. Мало того: что цивилизация уже совершила у нас весь свой круг; что мы уже ее выжили всю; приняли от нее все то, что следовало, и свободно об-

---

<sup>1</sup> Отворите, пожалуйста (*фр.*).

<sup>2</sup> В центр цивилизации (*фр.*).

ращаемся к родной почве. Нужды нет, что не велика еще у нас масса людей цивилизованных. Не в величине дело, а в том, что уже исторически закончен у нас переворот европейской цивилизации, что наступает другой, и важнее всего то, что это уже сознали у нас. В сознании-то и все дело. У нас сознали, что цивилизация только привносит новый элемент в народную нашу жизнь, нисколько не повредив ей, нисколько не уклонив ее с ее нормальной дороги, а, напротив, расширив наш кругозор, уяснив нам же самим наши цели и давая нам новое оружие для будущих подвигов. Пусть, пусть сознающая наша масса невелика; но дело в том, что это уже не Раканы. Повторяем, не в величине дело, а в том, что уже совершился процесс сознания; об массе этой вы не имеете еще никакого понятия. Вы до сих пор (по крайней мере, все ваши виконты) убеждены, что Россия состоит только из двух сословий: *les boyards* и *les serfs*<sup>1</sup>. Но вы долго еще не будете убеждены, что у нас давно уже есть нейтральная почва, на которой все сливается в одно цельное, стройное, единодушное, сливаются все сословия, мирно, согласно, братски — и *les boyards*, которых, впрочем, у нас никогда не было в том смысле, как у вас на западе, т. е. в смысле победителей и побежденных, и *les serfs*, которых опять тоже не было, в смысле настоящих *serf*'ов, так, как вы понимаете это словечко. И все это сливается так легко, так естественно, мирно — главное: мирно, и этим именно мы от вас и отличаемся, потому что вы каждый шаг свой добывали с бою, каждое свое право, каждую свою привилегию. Если и есть несогласия, то они только внешние, временные, случайные, легко устранимые и не имеющие корней в почве нашей, и мы очень хорошо это понимаем. И начало этому порядку положено еще давно, с незапамятных времен; оно заложено самой природой в духе русском, в идеале народном, и последнее внешнее к тому препятствие уже уничтожается в наше время премудрым и благословенным царем, благословенным из

---

<sup>1</sup> Бояр и крепостных (*фр.*).

благословенных на веки за то, что он для нас делает. Нет у нас сословных интересов, потому что и сословий-то в строгом смысле не было. Нет у нас галлов и франков, нет ценсов, определяющих внешним образом, чего стоит человек, потому что у нас только одно образование и одни нравственные качества человека должны определять, чего стоит человек; это сознают, и это в убеждениях, потому что русский дух пошире сословной вражды, сословных интересов и ценсов. Новая Русь уже помаленьку ощупывается, уже помаленьку сознает себя, и опять-таки нужды нет, что она невелика. Зато она, хоть и бессознательно, живет во всех сердцах русских, во всех стремлениях и позовах всех людей русских. Наша новая Русь поняла, что один только есть цемент, одна связь, одна почва, на которой все сойдется и примирится, — это всеобщее духовное примирение, начало которому лежит в образовании. Эта новая Русь уже засвидетельствовала себя явлениями органическими и цельными, а не неудавшимися копиями и пересадками, как вы думаете. Она засвидетельствовала себя начинающеюся в молодом поколении новою нравственностью, ревниво и строго следящею за собою; она засвидетельствовала себя благородным самоосуждением, строгою совестливостью — что есть признак величайшей силы и неуклонного стремления к своему идеалу. Каждый день она разясняет себе все более и более свой идеал. Она знает, что она еще только что начинается, но ведь начало-то и главное: всякое дело зависит от первого шага, от начала; она знает, что она уже кончила с вашей европейской цивилизацией и теперь начинает новую, неизмеримо широкую жизнь. И теперь, когда она обращается к народному началу и хочет слиться с ним, она несет ему в подарок науку — то, что от вас с благоговением получила и за что вечно будет поминать вас добром, — не цивилизацию вашу несет она всем русским, а науку, добытую из вашей цивилизации, представляет ее народу как результат своего длинного и долгого путешествия от родной почвы в немецкие земли, как оправдание свое перед ним, и, пере-

давая ее ему, будет ждать, что сделает он сам из этой науки. Наука, конечно, вечна и незыблема для всех и каждого в основных законах своих, но прививка ее, плоды ее именно зависят от национальных особенностей, то есть от почвы и народного характера.

— Но позвольте, — скажут нам, — что же такое ваша национальность? Что же такое вы сами, русские? Вот вы хвалитесь, что мы вас не знаем; но знаете ли вы-то себя? Вы собираетесь перейти к народному началу и объявляете об этом в газетах, рассылаете при афишах? Стало быть, признаетесь, что до сих пор не имели никакого понятия о вашем «народном начале», а если и имели, то имели ложное и отвергали его именно потому, что до сих пор не переходили к нему. Теперь же вздумали и кричите об этом на всю Европу. Позвольте вас спросить, что делает курица, когда снесет яйцо?

Повторяем читателю, что все это говорит иностранец (ну, хоть бы, например, француз), не настоящий, но воображаемый, бесплотный, фантастический. Никакого француза мы и в глаза не видали, когда писали нашу статью.

— Вот еще, — продолжает он, — в вашем объявлении вы изволили поместить следующее: вы надеетесь, что русская идея станет со временем синтезом всех тех идей, которые Европа так долго и с таким упорством вырабатывала в отдельных своих национальностях. Это что за новость? Что вы под этим подразумеваете?

— То есть, — отвечаем мы, — вы хотите, милостивый государь, чтоб вам объявили прямо и без околичностей, во что мы веруем?

— Нет, я вовсе этого не хочу, — восклицает наш француз с некоторым испугом, предчувствуя, что ему опять придется выслушать несколько страниц, — я вовсе этого не хочу. Я только хотел...

— Нет, милостивый государь, — прерываем мы, — вы хотели ответа и вы слушаете наш ответ.

— Он заслужил розга и получит розга! — подхватывает Иван Карлыч, вероятно, вспомнив то время, когда

он управлял вотчинами господина Буеракина. Теперь же Иван Карлыч, предчувствуя скорую перемену в быте крестьян, вышел в отставку и без места; он, впрочем, надеется, что его опять позовут! В настоящую минуту он стоит подле нас (тоже в качестве иностранца), курит свою трубочку, с которой, бывало, расхаживал по крестьянским работам, и молча, но очень серьезно прислушивается к нашему разговору, в полном убеждении, что выражает в своей физиономии чрезвычайно много самой тонкой иронии.

— Мы веруем, — повторяем мы...

Но позвольте, читатель, позвольте нам еще раз одно отступление; позвольте сказать только несколько посторонних слов, не потому, чтоб они были здесь очень необходимы, а так... потому что сами просятся на бумагу. Простите за искренность.

Всегда есть в ходу несколько таких мнений и убеждений, в которых современники как будто боятся признаться и отрекаются от них перед светом, несмотря на то что потихоньку их разделяют. Особенно это бывает в иные эпохи, так что становится заметно снаружи даже совершенно постороннему наблюдателю. Мы понимаем, что может быть много и хороших к тому побуждений: можно, например, слишком бояться за истину, за ее успех; бояться ее компрометировать, высказав ее невпопад. Можно быть благородно-мнительным, недоверчивым. Все это бывает. Но часто и даже большею частию мы любим *умалчивать* из какого-то внутреннего, затаившегося в нас иезуитизма, главный рычаг которого — наше самолюбие, раздраженное до тщеславия. Один скептик сказал, что наш век есть век раздраженных самолюбий. Обвинять целый свет — это слишком; но нельзя не согласиться, что все на свете снесет иной современный человек, какое хотите бесчестие — даже названия подлеца, мошенника, вора, если только эти названия не совсем ясно, не совсем осязательно высказаны, облечены, так сказать, в мягкие светские формы... Одной только насмешки над умом своим он не снесет, не простит, никогда не забудет и с насла-

ждением отмстит за нее при случае. Спешим оговориться. Я говорю про *иного* современного человека, а не про всех современников. Может быть, это именно оттого происходит, что в наше время все начинают все сильнее и больше чувствовать и даже понемногу сознавать, что всякий человек, во-первых, самого себя стоит, а во-вторых, как человек стоит и всякого другого именно потому, что он тоже человек, во имя своего человеческого достоинства. А потому и начинает требовать от профессоров гуманности и от общества, ими руководимого, к себе уважения. А так как сила ума есть единственное незыблемое и неоспоримое преимущество одного человека перед другим, то никто и не хочет склониться перед этим преимуществом до тех самых пор, пока одаренные преимуществом ученики не перестанут гордиться им и не будут считать скудоумие за что-то позорное и достойное едкой насмешки. Вот почему никто и не хочет быть дураком и таким образом невольно впадает в ошибку против своего же человеческого достоинства. Дурак-то именно и не должен бы был краснеть за свою глупость, потому что не виноват, если природа родила его дураком... Но, видно, инициатива должна выйти от привилегированных умников; дураку же простиительно, если он не умнее умных людей. Я знаю, например, одного... ну, хоть промышленника (ведь нынче в ходу промышленность, даже в литературе; к тому же промышленник — это такое общее, безобидное слово, почти отвлеченное). Так вот, если б кто спросил этого промышленника, что ему будет приятнее: название мошенника или дурака? — то он, я уверен в этом, немедленно согласился бы на мошенника, несмотря на то, что он хоть и в самом деле мошенник, но все-таки гораздо более дурак, чем мошенник, и сам это знает и знает еще, что и все это знают. Вот почему люди в наш век бывают иногда уже слишком робки на выражение иных убеждений, даже самых задушевных. Они именно боятся, что их назовут отсталыми, неумными. Ум, ум, самая тревожная боязнь за свой ум — вот в чем главное дело! Умалчивая о своих убеж-

дениях, они охотно и с яростию будут поддакивать тому, чему просто не верят, над чем втихомолку смеются, — и все это из-за того только, что оно в моде, в ходу, установлено столпами, авторитетами. Как же можно пойти против авторитетов! А между тем кто искренно убежден, тот, кажется, должен бы уважать свои убеждения; а уважающий свои убеждения должен хоть что-нибудь для них сделать. Всякий честный человек обязан... и т. д., и т. д.

— Ну, уж это пошло у вас из прописей, — скажет читатель и, пожалуй, бросит читать.

В самом деле, только что захочешь высказать, по своему убеждению, истину, тотчас выходит как будто из прописей! Что за фокус! Почему множество современных истин, высказанных чуть-чуть в патетическом тоне, сейчас же смахивает на прописи? Отчего в наш век, чтоб высказать истину, все более и более ощущается потребность прибегать к юмору, к сатире, к иронии; подслащать ими истину, как будто горькую пилюлю; представлять свое убеждение публике с оттенком какого-то высокомерного к нему равнодушия, даже с некоторым оттенком неуважения, — одним словом, с какой-то подленькой уступочкой. По нашему мнению, честному человеку не следует краснеть за свои убеждения, даже если б они были и из прописей, особенно если он в них верует. Мы говорим: *особенно*, потому что ведь есть и такие убежденные, которые сами в свои убеждения не веруют и, убеждая других, поминутно задают себе вопрос: да уж не врешь ли ты, братец? а между тем горячатся за эти убеждения до ярости, и иногда во все не потому, чтоб хотели обманывать людей. Я знал одного господина, одного убежденного, который сам в этом сознавался. Он принадлежал к тому разряду бесспорно умных людей, которые всю жизнь только и делают, что одни глупости. Кстати: люди ограниченные, тупые, гораздо меньше делают глупостей, чем люди умные, — отчего это? И когда мы стали спрашивать этого сознавшегося господина: для чего ж он убеждает других, если сам не верует? и откуда он берет весь этот жар, всю эту ярость убе-

ждения, если сам в своих словах сомневается, — то он отвечал, будто оттого и горячится, что все пробует самого себя убедить. Вот что значит полюбить идею снаружи, из одного к ней пристрастия, не доказав себе (и *даже боясь* доказывать), верна она или нет. А кто знает, ведь, может, и правда, что иные всю жизнь горячатся даже с пеною у рта, убеждая других, единственно чтоб самим убедиться, да так и умирают неубежденные... Но довольно!.. Мы убедили себя окончательно. Пусть же теперь про нас думают, что мы увлекаемся своей идеей, что она неверна, неосновательна; что мы преувеличиваем; что в нас слишком много юношеского жара или, пожалуй, старческого скудоумия, что в нас мало такта и проч., и проч. Пусть думают! Ведь мы уверены, что не можем никому повредить, высказав прямо то, во что веруем. Отчего же не говорить? Отчего же именно непременно молчать?

### 3

Да, мы веруем, что русская нация — необыкновенное явление в истории всего человечества. Характер русского народа до того не похож на характеры всех современных европейских народов, что европейцы до сих пор не понимают его и понимают в нем все наоборот. Все европейцы идут к одной и той же цели, к одному и тому же идеалу; это, бесспорно, так. Но все они разъединяются между собою почвенными интересами, исключительны друг к другу до непримиримости, и все более и более расходятся по разным путям, уклоняясь от общей дороги. По-видимому, каждый из них стремится отыскать общечеловеческий идеал у себя, своими собственными силами, и потому все вместе вредят сами себе и своему делу. Повторяем теперь серьезно то, что сказали выше в шутку: англичанин до сих пор не может понять никакой разумности во французе, и, наоборот, француз в англичанине, и это не только у них сборное мнение, инстинктивное чувство всей нации, но замечается даже в первых людях, в предводителях обеих